

ГОМЕР, БЕЛОВ И ЗАВЕРТКИ

(К вопросу о целостности художественного мира В. И. Белова)

Аннотация. В статье рассматриваются основания, позволяющие устанавливать мировоззренческую связь между гомеровским эпосом и творчеством В. И. Белова.

Ключевые слова: гомеровский эпос, «деревенская проза», Е. И. Носов, «коллективная личность», «лад», славянофилы, «эпическое созерцание», целостность.

Повод для разговора о связи творчества В. И. Белова с наследием Гомера дал писатель Е. И. Носов. В недатированном письме к вологодскому другу, которое, судя по его содержанию, можно отнести к 1966 году, он поделился с Беловым свежим впечатлением от только что прочитанной повести «Привычное дело»: «Растрогал ты меня до слез своим Африканычем!.. Есть просто гомеровские страницы. Читал по кусочкам, по глоткам, как дорогое вино, которое жалко сразу проглотить» [11, с. 170]. По-видимому, сближение столь разных авторов было для Носова значимым, поскольку он, спустя более двух десятков лет в письме В. П. Астафьеву повторил: «...Иван Африканович – что-то гомеровское» [3, с. 259].

Разумеется, и историко-культурная, и творческо-типологическая дистанция между Гомером и Беловым огромна, а писатель Евгений Носов не специалист по классической филологии, однако цитированные его суждения являются литературным фактом, любопытным эпизодом истории интерпретации одного из наиболее ярких произведений «деревенской прозы» и заслуживают внимания и осмысления. К сожалению, никакими пояснениями свои высказывания о наличии «гомеровских страниц» в «Привычном деле» и о чем-то «гомеровском» в образе героя беловской повести он не сопроводил. Можно, конечно, счесть эти высказывания не более как экспрессивно-оценочными формулами выражения читательского восторга, не приписывая им сущностного смысла. И все-таки думается, что, основания для усмотрения в них такого смысла имеются.

Один из способов его выявления – поиск историко-литературной параллели, позволяющей наметить подход к решению поставленного Носовым вопроса. В качестве такой параллели может послужить критическая «битва» между славянофилами и западниками, развернувшаяся в 1842 году по выходе из печати первого тома «Мертвых душ». Инициатором ее, сам, по-видимому того не желая, выступил К. С. Аксаков, автор брошюры «Несколько слов о поэме “Похождения Чичикова, или Мертвые души”». Характеризуя произведение Гоголя, он усмотрел в нем чудесное возрождение «древнего эпического созерцания», явленного некогда во всей полноте в творениях Гомера и утраченного затем европейской культурой за два с половиной тысячелетия ее исторического существования. Созерцание это позволяет воспринимать мир как «глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующий единым духом все свои явления». Благодаря ему, поэме Гоголя было сообщено «такое совершенное отсутствие

всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека, – какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим» [1, с. 44, 50].

Понятие «эпического созерцания» возникло у К. Аксакова под влиянием эстетики Гегеля, прежде всего – содержащегося в ней положения об «эпическом целом». Непременным условием существования этого целого является у немецкого философа «целостность объектов, которые могут быть изображены, имея в виду взаимосвязь особенного действия с его субстанциональной почвой» [6, с. 398]. Эстетика Гегеля оказала сильное воздействие и на формирование воззрений В. Г. Белинского. Этим воздействием отмечена, например, его статья «Разделение поэзии на роды и виды», близкая по времени написания полемике о «Мертвых душах». Трактовка мировоззренческой специфики эпического рода в этой статье подобна аксаковской, что неудивительно, поскольку оба критика исходят из положений гегелевской теории. Но близость не исключила острой полемики, разногласий между ними, predeterminedных различиями в понимании связи «особенного действия с его субстанциональной почвой». По Аксакову, «эпическое созерцание», основанное на принятии окружающего мира как объективной данности во всем ее многообразии, – вневременной духовный идеал, выраженный Гомером, вновь явленный после долгого забвения в творениях Шекспира, а затем восстановленный на фоне общего упадка европейской культуры в поэме Гоголя. По Белинскому же, резко выступившему против аксаковской трактовки «Мертвых душ», этот идеал исторически трансформировался по ходу развития европейской цивилизации – и не по линии упадка, а по восходящей линии прогресса. Поэтому в современных условиях попытка реанимировать гомеровское мирозерцание – явный анахронизм, и оно, это мирозерцание, может иметь в XIX столетии значимость лишь как свидетельство о далеком «детстве человечества». Адекватным современному состоянию европейской культуры выражением «эпического созерцания» является роман – жанр, безосновательно отвергаемый Аксаковым как порождение будто бы деградировавшей со времен Гомера европейской культуры. И «Мертвые души» не могут быть восприняты как возрождение древнего эпоса, поскольку диаметрально противоположны ему. «В “Илиаде”, пишет Белинский, – жизнь возведена на апофеозу: в “Мертвых душах” она разлагается и отрицается; пафос “Илиады” есть блаженное упоение, истекающее от созерцания дивно божественного зрелища: пафос “Мертвых душ” есть юмор, созерцающий жизнь *сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы*. Что же касается до эпического спокойствия, – оно совсем не исключительное качество поэмы Гоголя: это общее родовое качество эпоса» [4, с. 58]. Для славянофила Аксакова обнаружение гомеровского «эпического созерцания» в «Мертвых душах» свидетельствовало о наличии «субстанциональной почвы» у русского народа, о его духовном здоровье и о его великом будущем. По мнению западника Белинского, «Мертвые души» поводов для сближения с гомеровским эпосом не давали, на роль реаниматоров «древнего эпического созерцания» претендовать не могли, их художественные достоинства имели сугубо национальное значение и свидетельством духовного превосходства над Западной Европой не являлись.

В годы советской власти в литературе, посвященной полемике о «Мертвых душах», приоритет отдавался Белинскому – по идеологическим мотивам, как представителю революционной демократии. О том, что суждения Аксакова можно признать хотя бы отчасти правомерными, писалось нечасто, осторожно и с непременными оговорками. Одной из первых попыток заявить о необходимости более внимательного и взвешенного отношения к славянофильским концепциям вообще и к Аксакову как интерпретатору поэмы Гоголя в частности стала статья В. А. Кошелева «“Мертвые души” Н. В. Гоголя в трактовке ранних славянофилов». Завершая статью, ее автор писал: «...критические суждения Белинского, высказанные в споре с Аксаковым, вряд ли можно рассматривать как единственно верное определение сущности славянофильской трактовки поэмы Гоголя, ибо трактовка эта была очень неоднозначной, “множественной”, дающей какие-то основания для каждой из взаимоисключающих оценок» [9, с. 100]. Тем самым словно бы допускалась и возможность установления мировоззренческой связи между Гомером и Гоголем (пусть хотя бы только «в акте творчества»).

В последней четверти XX века внимание к славянофилам и их наследию заметно возросло. Были переизданы капитальные труды о них, написанные у нас до революции и в русском зарубежье, появились посвященные им новые монографии, в которых рассматривалась сложность и неоднозначность их мировоззрения [см., напр.: 16, 8]. Уже в XXI столетии высказывалась идея об актуализации взглядов славянофилов в современных условиях [15]. Но актуализация эта шла и ранее – в «деревенской прозе», и шире – в той ветви литературы, которая в критике именовалась «почвеннической» (см., напр.: 12). Только велась она не всегда с четким осознанием близости к славянофилам и не в дискурсивно-логическом, а в художественном, образном ключе.

Близкими «почвенникам» и «деревенщикам» оказались характеристики «эпического созерцания», которые, по Аксакову, делают возможным установление подобия между художественными мирами Гомера и Гоголя как автора «Мертвых душ». Характеристики эти таковы:

- наличие «субстанции почвы»;
- выражение «содержания общей жизни»;
- «полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей».

По Аксакову, «субстанции почвой» в гомеровском эпосе является образ народной жизни, близкой к природе и не затронутой тлетворным влиянием постантичной западноевропейской цивилизации. В «деревенской прозе» роль такой «субстанции» выполняет традиционная крестьянская культура, которая противостоит разрушительным тенденциям прогресса, игнорирующего первооснову человеческого существования – труда на земле. Наделение традиционной крестьянской культуры «субстанции», определяющей человеческую природу бытийной значимостью, побудило критиков квалифицировать эту прозу как «онтологическую». При этом эпизация крестьянского труда сопровождалась его героизацией, что давало дополнительный импульс к сближению с деревенской прозы с гомеровским эпосом, невзирая на то, что «деревенская проза» предрасположена к изображению обычного человека в повседневных обстоятельствах. Ефим Дорощ, автор первого развернутого отклика на по-

весть Белова «Привычное дело», находил основание сблизить центрального персонажа произведения с «историческим человеком в зипуне», «который, неустанно двигаясь с топором и сохой, расчищал место для истории от берегов Днепра до Северного океана – в сущности, с одним только топором, потому что и соху и борону, как почти все необходимое ему, от веретена до телеги, от ложки до ладьи, от колодезного сруба до двадцатиглавого собора, и смертную колоду, и крест над могилой, он рубил, и резал, и мастерила из дерева с помощью одного топора» [7, с. 257].

Содержание «общей жизни, связующей единым духом все явления» [1, с. 44] находило у Гомера воплощение в зависимости образа мышления и поведения героя от родо-племенных отношений. «Человек гомеровских поэм, – отмечает И. В. Шталь, – живет в особом мире, где питают пристрастие к понятиям “весь”, “все” (πας, πάντες) и “каждый” (έκαστος), сблизжают эти понятия и не делают между ними различия <...> человек эпоса есть тот самый однотипный “каждый”, единение которых составляет “все” эпическое человечество, “весь” эпический народ, “все” эпическое племя. “Каждый” человек эпоса и “все” эпическое человечество сходны по свойствам, качествам, в них заложенным, но разнятся количеством этих свойств и качеств» [17, с. 73, 77]. Нечто подобное славянофилы усматривали и в мире русской крестьянской общины, которая мыслилась ими как некий эпический коллектив, где общими свойствами и интересами коллектива определялись свойства и интересы «каждого». Община представлялась им «как традиционное образование, обеспечивающее связь времен, преемственность поколений, как регулятор социальных конфликтов и средство интеграции отдельных индивидов в определенную систему общественных отношений» [2, с. 53]. Именно такого рода интегрированность обнаруживал в центральном персонаже «Привычного дела» Ю. Селезнев, когда полемизировал с критиками, отказывающими Ивану Африкановичу в праве считаться личностью, и предлагал относить его к особой выработанной народом категории «коллективная личность», отличной от «личности автономной», обособленной от коллектива [13, с. 55–56]. Как своего рода народный идеал она, эта интегрированность, постулировалась не только Беловым, но и всей «деревенской прозой» в целом.

И, наконец, – «полнота жизни», производная от равного внимания ко всем без исключения ее явлениям, от осознания всеобщей связи между ними, той связи, которая обеспечивает единство картины мира, подлежащей «эпическому созерцанию». Проецируя эту характеристику гомеровского эпоса на творчество Василия Белова, нетрудно установить соответствие ей в одной из мировоззренчески ключевых сцен «Привычного дела», где Иван Африканович отогревает замерзшего воробья и произносит важные для понимания авторской концепции действительности слова: «Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой жись» [5, т. 2, с. 35]. В эту «жись» для Ивана Африкановича органически входят и его собственный сын в люльке, и бабы, затопившие печи, и мышкующая лиса, и горошины заячьего помета на белом снегу, и лесок, просвеченный солнцем, и бескрайняя глубина неба. В социокультурном измерении «полнота жизни», обеспеченная тесной взаимосвязью всех ее явлений, обретает воплощение в понятии «лад», которое у Белова наделено значением нормы человеческого существования. Смысловому развертыванию этого понятия посвящена от-

дельная его книга, но оно играет важную концептуализирующую роль во всем творчестве писателя, во всех его произведениях – как художественных, так и публицистических*.

Наглядным примером включенности отдельного предмета, явления в систему всеобщих связей может служить многообразие функций завертки, «малейшей частицы» в художественном мире Белова, обладающем свойством целостности. Завертка – небольшое приспособление, используемое при запряжке лошади в сани. Словарь вологодских говоров определяет его так: «Веревочная петля или кольцо из ремня, проволоки, прутьев для прикрепления оглобеля к саням» [14, с. 100]. В этом определении завертки из разных материалов представлены как равноценные.

У Белова, однако, между ними делаются весьма существенные различия. Об этом свидетельствует описание данного приспособления в его книге «Лад»: «Ко второму копылу каждого полоза крепился конец березовой оглобли. Дело в том, что оглобля должна быть подвижной, а груз на возу бывает в десятки пудов. От прочности завертки, соединяющей конец оглобли с дровнями, зависела *не только крепость упряжки, но и многое в крестьянском быту* [курсив мой. – С. Б.]. Если срубленную длинную и тонкую березку перевивать, перекручивать, начиная с тончайшей вершинки, получится длинный и гибкий жгут из прочных волокон. Этот жгут, сплетенный в кольцо, и называется заверткой. У хорошего хозяина всегда в запасе с полдюжины подобных колечек: они висят на штыре в сарае или в сенях. Отправляясь в дальний извоз, брали завертку-две про запас. Известны случаи, когда женихи, приехавшие за невестой на повозке с дурными веревочными завертками, уезжали ни с чем. Для того чтобы поставить новую завертку, надо расплести кольцо и сплести его вновь, но уже на копыле дровней. Оглоблю с зарубкой на конце вставляют в кольцо и заворачивают ее на неполный оборот. После этого можно смело ехать в любую дорогу с любым грузом» [5, т. 5, с. 128]. Таким образом, настоящей заверткой для автора «Лада» является только та, которая сплетена из тонких березовых веточек и держится про запас, наряду с другими такими же завертками. В начале романа «Кануны» дана картина святочного вечера в доме Роговых, символизирующая традиционный лад семейной крестьянской жизни. Одна их характерных примет этого «лада» – хозяин Иван Никитич, вьющий завертки.

В повести «Привычное дело» завертки упоминаются дважды, и оба упоминания так или иначе соотносятся с понятием «лада». Сначала их скрип служит своеобразным аккомпанементом дремотным думам и речам хмельного Ивана Африкановича, возвращающегося по зимней дороге из района домой (главка «Прямым ходом»). Мерин Пармен и дровни, в которые он впряжен, не собственность Ивана Африкановича, они колхозные. Однако скрипящие березовые завертки не случайно ассоциативно соотнесены здесь

* Возможно, более соответствующей художественному миру Белова, как и «деревенской прозы» в целом, была бы параллель не с Гомером, а с Гесиодом, автором поэмы «Труды и дни», в которой воспроизведено древнегреческое представление о крестьянском «ладе»: «Между тем как Гомер, творец ионийского эпоса, предаваясь влечению своего воображения, беззаботно наслаждался веселой жизнью древнего героического времени, Гесиод, пастух и земледелец, находящийся в стесненных обстоятельствах жизни, исполненной забот, развил серьезный созерцательный род дидактического эпоса, с ифически-религиозным направлением» [10, с. 512].

с седоком, поскольку центральный персонаж произведения – из категории людей, безразличных к традиционной культуре крестьянского труда и обихода. Завертки в повести упоминаются также в сказке о пошехонцах, которую рассказывает ребятишкам Евстолия, теща Дрынова. Об их исправности беспокоится накануне далекой поездки за табаком слывущий «самым хозяйственным и толковым» из пошехонцев – Павел. В этом случае забота о завертках имеет пародийный характер: хозяйственность Павла является мнимой, поскольку «внесистемна», сочетается с бестолковостью персонажей сказки, постоянно попадающих в нелепо-комические положения. Завертка здесь демонстрирует идею «лада» от противного.

Завертки упоминаются в ряде произведений Белова: в повести «Деревня Бердьяка», в рассказе «Под извоз», в пьесе «Князь Александр Невский». При этом в соответствии с характеристикой предмета в книге «Лад» обращается внимание на качество заверток, на необходимость позаботиться о них перед дальней дорогой или пред деревенскими скачками. Хорошие березовые завертки являются у Белова не просто характерной деталью материального быта северной деревни, они служат в художественном мире писателя своего рода показателем рачительности, запасливости, хозяйственной основательности крестьянина – в конечном счете, его состоятельности как «коллективной личности». Эпизод отказа претенденту на руку невесты из-за плохой завертки входит в повесть «Плотницкие рассказы», где в роли незадачливого жениха выведен Авенир Козонков, которому отец девушки говорит: «Нет, парень, пожалуй, нам не сговориться. Не отдам я тебе дочку <...> вот повезешь мою девку к венцу, а у тебя на первой горюшке завертка и лопнет. Девка-то <...> у меня ядреная, а у тебя завертки веревочные...» [5, т. 2, с. 156].

Жизненно важная значимость хорошей завертки событийно разыграна в рассказе «Весна». Соответствующий эпизод в этом произведении является своеобразным толкованием поговорки «Голодный волк и завертки рвет», приведенной в книге «Лад» [5, т. 5, с. 233]. Без событийного контекста ее смысл может быть понят как готовность страдающего от голода зверя грызть что угодно, вплоть до несъедобных изделий из древесных веточек. В рассказе, однако, ситуация с заверткой предлагает несколько иное толкование. Отправившийся в зимний лес за дровами персонаж встречается с голодными волками и спасается от них бегством: «Свербега, несмотря на тяжесть воза, с тревожным ржанием бросилась по дороге, и старик еле успел прыгнуть на воз. Торопливо вытаскивая из-за ремня топор, Иван Тимофеевич видел, как один волк легко перемахнул через валежину, другой обогнал первого, и по насту они в четыре прыжка оказались рядом. Лошадь понеслась вскачь. “Только бы не лопнула завертка”, – мелькнуло в голове. Все это произошло за несколько секунд и плохо запомнилось Ивану Тимофеевичу. Передний волк дважды прыгал к горлу Свербеги, и каждый раз, кувыряясь, отлетал, отброшенный запрягом» [5, т. 1, с. 367]. Прочность завертки, таким образом, оказывается не просто условием успешного хозяйствования, но и гарантией спасения от смертельной опасности, наделяется жизнеобеспечивающей функцией.

В качестве примера, иллюстрирующего «гомеровский» принцип всеобщей связи явлений и предметов окружающего мира, значимости каждого из них в этом мире, можно было бы взять какой-то другой объект

и спроецировать его на творчество Белова, обладающее качеством идейно-художественной целостности. Качество это творчеству писателя присуще, и оно может быть соотнесено, (как и наличие «субстанциональной почвы», как и выражение «содержания общей жизни») с особенностями картины, воспроизведенной в поэмах Гомера. Наличие возможности установить такую соотнесенность и дало, по-видимому, Е. И. Носову повод усмотреть что-то «гомеровское» в повести «Привычное дело», а читателю, солидарному с ним, и в других произведениях Белова, образующих целостный художественный мир.

Литература

1. Аксаков, К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» // Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. – М.: Искусство, 1982. – С. 42–53.
2. Андреев, Н. Ю. Община в системе государственно-правового идеала славянофилов // Вестник Воронежского государственного университета. – Серия: Право // 2014. – № 2. – С. 52–61.
3. Астафьев, В. П. Собр. соч.: в 15-ти томах. – Т. 14: Письма, 1961–1989. – Красноярск: ПИК «Офсет», 1998. – 480 с.
4. Белинский, В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» // Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9-ти томах. – Т. 5. – М.: Художественная литература, 1979. – С. 56–62.
5. Белов, В. И. Собр. соч.: в 7-ми томах. – М.: РИЦ «Классика», 2011–2012.
6. Гегель, Г. В. Ф. Лекции по эстетике: в 2-х томах. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – 603 с.
7. Дорош, Е. Иван Африканович // Новый мир. – 1966. – № 8. – С. 257–261.
8. Кошелев, В. А. Алексей Степанович Хомяков. Исследование в документах, рассуждениях и разысканиях. – М.: Новое литературное обозрение, 2000. – 504 с.
9. Кошелев, В. А. «Мертвые души» Н. В. Гоголя в трактовке ранних славянофилов // Русская литература. – 1976. – № 3. – С. 82–100.
10. Любкнер, Ф. Реальный словарь классических древностей: в 3-х томах. – Т. 2. – М.: Олма-Пресс, 2001. – 512 с.
11. Письма Е. И. Носова // Москва. – 2003. – С. 168–179.
12. Разувалова, А. И. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 612 с.
13. Селезнев, Ю. Василий Белов: Раздумья о творческой судьбе писателя. – М.: Советская Россия, 1983. – 144 с.
14. Словарь вологодских говоров. [Вып. 2:] Д–З. – Вологда: издательство Вологодского гос. пед. ин-та, 1985. – 184 с.
15. Тростников, В. Славянофилы становятся нашими современниками // Русский Дом. – 2009. – № 5. – С. 40–41.
16. Цимбаев, Н. И. Славянофильство (из истории русской общественно-политической мысли XIX века). – М.: изд-во Московского, ун-та, 1986. – 274 с.
17. Шталь, И. В. Художественный мир гомеровского эпоса. – М.: Наука, 1983. – 295 с.